



XXI ВЕК

ВОЛГА

3-4 2015

Литературно-художественный журнал

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

- А.Ю. Аврутин** – член Союза писателей Беларуси (Минск)
А.Б. Амусин – член Союза писателей России, председатель Ассоциации Саратовских Писателей
А.А. Бусс – член Союза писателей России (Саратов)
В.И. Вардугин – член Союза писателей России и Ассоциации Саратовских Писателей
Е.А. Грачёв – член Союза писателей России и Ассоциации Саратовских Писателей
А.А. Демченко – доктор филологических наук, профессор СГУ им. Н.Г. Чернышевского (Саратов)
Д.Е. Кан – член Союза писателей России (Новокуйбышевск)
О.И. Корниенко – член Союза писателей России (Сызрань)
В.В. Ковалёв – член Союза художников (Рига)
В.А. Кремер – член Союза писателей России (Саратов)
М.А. Лубоцкий – член Союза писателей Москвы, ответственный секретарь Ассоциации Саратовских Писателей
В.Д. Лютый – член Союза писателей России (Воронеж)
М.С. Муллин – член Союза писателей России и Ассоциации Саратовских Писателей
Г.П. Муренина – директор музея Н.Г. Чернышевского, член Ассоциации Саратовских Писателей
И.В. Пырков – член Союза писателей России (Саратов)
Н.В. Шаталина – член Союза журналистов России (Саратов)

САРАТОВ
2015

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭТОГРАД

Владимир СКИФ. **Передний край** 3

ОТРАЖЕНИЯ

Виктор БИРЮЛИН. **Возможность горизонта** 9

НА ВОЛНЕ ПАМЯТИ

Николай СЕМЁНОВ. **Нетипичный дневник. Рассказы о войне**19

Виктор ШЕПТИЦКИЙ. **Мой день Победы**31

ОСТАНЕТСЯ МОЙ ГОЛОС

Борис ОЗЁРНЫЙ. **Письма с фронта**49

СТАТЬИ

Галина РОГОЖИНА. **«А я ни разу не был на войне...»**57

НА ВОЛНЕ ПАМЯТИ

Юрий ДМИТРИЕВ. **О суворовском училище**68

Виктор ШЕПТИЦКИЙ. **1945 год. Начало**80

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Светлана ДУРНОВА. **«В сорок первом памятном году...»**82

«Когда окончится война...»85

ПОЭТОГРАД

Александр ЛАЙКОВ. **Я пилотку сошью из травы на кургане...**89

ОТРАЖЕНИЯ

Игорь СОЛОВЬЁВ. **Дымка над полигоном**96

ПОЭТОГРАД

Руслан КОШКИН. **В этой вере я не одинок...**109

НА ВОЛНЕ ПАМЯТИ

Александр РЕДЬКОВ. **Дорога к дому**115

ВОЛЖСКИЙ АРХИВ

Алексей ЧЕРНЫШЕВСКИЙ. **Стихи о войне**133

Владимир КАНТОР, Владимир КОРМЕР. **Посланный в мир**135

В МИРЕ ИСКУССТВА

Алексей ГЕРАСИМОВ. **Музы не молчат, когда гремят пушки**165

НА ВОЛНЕ ПАМЯТИ

Анна МОРКОВИНА. **Библиотека М.И. Рудомино**173

В МИРЕ ИСКУССТВА

Жанна САПОЖНИКОВА. **Летописец военных будней**190



**Владимир КАНТОР,
Владимир КОРМЕР**

ПОСЛАННЫЙ В МИР

(Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ)

Киносценарий

Перед читателем – текст 1985 года. Возможно, имеет смысл объяснить его возникновение. Мой покойный друг, Владимир Кормер, после выхода в 1984 году на Западе его романа «Крот истории» (премия Владимира Даля) ушёл, разумеется, с работы (мы вместе работали в журнале «Вопросы философии»). Однако его не оставляла странная мысль – найти форму возвращения в подзаконный литературный процесс. Психология эмигранта была ему чужда, как, кстати, и Чернышевскому. И тут в мае у меня вышла статья о Чернышевском: «Эстетика жизни» (споры вокруг второго, 1865 года, издания «Эстетических отношений к действительности») // Вопросы философии. 1985. № 5.) Статья Кормеру понравилась, он увидел в ней антиленинское и антинабоковское прочтение идей Чернышевского. И Кормер предложил мне написать вместе сценарий о Чернышевском, рассчитывая, что кто-нибудь да и заинтересуется этим текстом. После некоторого колебания я согласился. Черновой вариант сценария так и назывался «Эстетика жизни». Только сейчас, редактируя текст, я изменил заглавие на более подходящее по смыслу. Писали мы около двух месяцев, написали (набросали) первую часть, потом был перерыв, а потом Володя тяжело заболел (рак почки), в ноя-

-
- Владимир Карлович Кантор – доктор философских наук, ординарный профессор философского факультета Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики, член редколлегии журнала «Вопросы философии», член Союза российских писателей, прозаик, стипендиат Фонда им. Генриха Бёлля (Германия, 1992), лауреат нескольких отечественных премий, трижды номинировавшийся на Букеровскую премию, историк русской культуры, автор более шестисот опубликованных работ. Произведения Владимира Кантора переводились на английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, польский, чешский, сербский и эстонский языки.

бре 1986 года он умер. Рукопись пролежала у меня в архиве почти тридцать лет. В последние два года удача свела меня с крупнейшим нашим специалистом по Чернышевскому – Адольфом Андреевичем Демченко, а также с журналом «Волга–XXI век», которому я признателен за выпуск в свет моего романа. В результате разных бесед было решено, что журнал возьмёт рукопись и постарается оценить её пригодность для публикации. Почти без надежды на успех я принялся искать рукопись. И – вторая удача: рукопись я нашёл. Перечитал, пафос текста мне по-прежнему близок; поправив и уточнив некоторые детали, я предлагаю сценарий вниманию саратовцев. Только одно: текст, разумеется, содержит приметы того времени, когда он был написан, поэтому это не только произведение художественное, но и документ эпохи.

Владимир Кантор

Имя Николая Гавриловича Чернышевского не нуждается в рекомендациях. Литературный критик, публицист, писатель, мыслитель, которого Маркс называл одним из «величайших учёных современности», философ и писатель, для изображения судьбы которого Василий Розанов нашёл потрясающие слова: «Конечно, *не использовать* такую кипучую энергию, как у Чернышевского, для государственного строительства было преступлением, граничащим со злодеянием <...> В одной этой действительно замечательной биографии мы подошли к Древу Жизни: но – взяли да и срубили его, чтобы ободрать на лапти Обломовым».

Вместе с тем, как ни странно, к его образу ни разу не обращались кинематографисты.

Масштаб личности Чернышевского, драматизм его судьбы, превращающий жизнь в житие, необычен даже для людей русской культуры, биографии которых зачастую отмечены беспощадным роком.

Семинарист из Саратова, коренной волжанин, которому пророчили будущность «светила русской церкви», человек необычайной, невероятной внутренней энергии отказывается от предназначенной ему карьеры и выбирает путь подвижника, думавшего силой своего слова воздействовать на Россию. Ведущий публицист некрасовского «Современника» становится идейным вождём молодой России. Одна из постоянно повторяемых им мыслей звучала так: всё хорошее и всё дурное в России совершается силою прихоти, а не по закону. Петербургский генерал-губернатор Суворов незадолго до ареста предлагает Чернышевскому покинуть Россию, чтобы на императора «не легло бы это пятно – сослать писателя безвинно». Это предвестие «философского парохода». Разговор кончился отказом Николая Гавриловича. Он арестован в тридцать три года. Законных оснований для его ареста не было. Был иррациональный страх самодержца перед Другим, перед Личностью. Он подвергнут гражданской казни, отправлен на каторгу, а потом в ссылку – в Сибирь (Вилуйск). Вся мыслящая Россия читает его книги. На Западе Карл

Маркс прочитал на русском его тексты и назвал одним из крупнейших европейских мыслителей. Друг Маркса, один из самых благородных русских революционеров Герман Лопатин, разоблачивший Нечаева, предпринимает отчаянную попытку устроить побег Чернышевского. В его защиту выступают виднейшие представители российской культуры – Н. С. Лесков, А. Н. Пыпин, А. К. Толстой, В. С. Соловьёв, написавший о Чернышевском: «Нравственное качество его души было испытано великим испытанием и оказалось полновесным. Над развалинами беспощадно разбитого существования встаёт тихий, грустный и благородный образ мудрого и справедливого человека».

В какой-то момент что-то сдвинулось в самодержавной прихоти. Царское правительство предлагает Чернышевскому просить помилования. Мы знаем немало героических и трагических ситуаций, когда люди, казалось бы, высокого призвания, например, Радищев, Бакунин, Достоевский, готовы были к таким компромиссам. Но Чернышевский – после тюрьмы, каторги, находясь в кромешных условиях вилюйской ссылки, – мысль о помиловании отвергает. В культурной памяти человечества такой подвиг духа всегда воспринимается как акт величайшего самопожертвования во имя гуманистических идеалов.

Трагический исход жизни Чернышевского вызвал к борьбе поколения новых революционеров, в самосознание которых составной частью вошли учение замечательного мыслителя и опыт его личности.

Задача фильма – показать путь духовного становления великого русского человека – в его столкновении с косной средой самодержавной России, в драматических и накалённых спорах и размышлениях о судьбах Родины, её настоящем и будущем.

Драматургический узел биографии Чернышевского и, соответственно, сценария, как нам кажется, в значительной мере определён также тем, что Чернышевский, подобно многим гениальным людям, не всегда бывал верно понят своими современниками. Будто сама личность его создавала вокруг себя ауру загадочности и рождала некую «легенду» о нём. Его слова и дела (например, организация Шахматного клуба в Петербурге) далеко неоднозначно истолковывались как представителями демократического лагеря, так, конечно, и Третьим отделением. Считали, что он хитрит, конспируется. Молва уже безоговорочно называла его основателем разрушительного «тайного общества», «вождём нигилистов» и т. д. В Петербурге ходили слухи, что «сам царь боится его». Вместо реального Чернышевского возникал своеобразный «фантом» (его собственное определение). Недаром даже такой человек, как Достоевский, во время петербургских пожаров 1861 года прибежал к Чернышевскому, умоляя его «не жечь Петербург». Всё это отчасти объясняет и жестокость обрушившегося на него наказания.

Динамизм кинематографического сюжета, обусловленный самой биографией Чернышевского, позволит дать широкую и насыщенную событиями картину общественной жизни середины XIX века.

Казнь петрашевцев и каракозовский выстрел, Крымская война и петербургские пожары, преступление Нечаева и героическое пред-

приятие Германа Лопатина, борьба Чернышевского с Третьим отделением и хождение молодёжи в народ – вот далеко не полный перечень тех событий, которые пройдут перед зрителем на экране.

Таким образом, весьма широк и «географический диапазон» фильма: Саратов и Петербург, Крым и Лондон, Восточная Сибирь, Астрахань и снова Саратов.

Специфика избранной темы открывает возможность развернуть и богатейшую галерею человеческих типов, в том числе и виднейших деятелей русской и европейской культуры – от Достоевского до Маркса.

Предлагаемый сценарий рассчитан на две серии, из которых первая отображает путь Чернышевского «на Голгофу», а вторая – его дальнейшую судьбу, среди каторжных и заключённых русских тюрем, попытки освободить его, отказ от подачи помилования – самый необычный поступок в русской истории.

ГОЛОС РАССКАЗЧИКА:

Судьба, о которой я расскажу вам, одна из самых необычных в русской истории девятнадцатого века, где много было судеб необыкновенных и страшных. Пожалуй, только биография Достоевского конгениальна биографии Чернышевского. Они были очень разные, но одна жизнь как бы отзеркаливала в другой, а по нелепости и беспощадности, с которой была их русская власть, они входят в ряд тех подвижников, которых распинают, но идеи которых окормляют дальнейшую жизнь России, более того, сквозь их судьбу и творчество просвечивает и будущее страны.

1

Волга. Саратов. Высокий, крутой, обрывистый берег. Наверху ампириный, дворянский и купеческий город. Особняки, лабазы, базар. Внизу – причалы, дебаркадер, баржи, лодки. Ленивая суета на прибрежном песке.

Над обрывом семинаристы-отроки играют в «царя горы», спихивая друг друга с кучки песка. Один из них, в очках, но неожиданно оказавшийся посильней остальных, наконец вырывается, расталкивает всех и вскарабкивается наверх. «Я – царь. Здесь я построю дворец. Придите ко мне, страждущие и обременённые!» – гордо кричит он. Однако противники не думают сдаваться. Они озлоблены. Кто победил их? Очкарик, книжный червь, протоиерейский сынок! Их, настоящих бурсаков! Всем скопом они бросаются на него. Сволакивают вниз, тащат к обрыву. Это уже не игра. Он отбивается, но сделать ничего не может. Миг – и он катится с обрыва, напрасно цепляясь за кусты и траву.

Ободранный, несчастный, униженный, он распростёрт внизу, на песке. На обрыве злорадно гогочут его сотоварищи-бурсаки. «Радуйся, царь! Радуйся, царь Иудейский!» Им вторит досужий люд на берегу.

2

Волга. Саратов. Ватага пьяных и шумных бурлаков. Бунт. Это из романа Чернышевского «Пролог». Обыватели шарахаются прочь. Песня: «А мы Стеньки Разина работнички». Наперерез толпе выходит будочник-инвалид: «Не вводите меня, старичка, во искушение...» Толпа оседает, огрызается, виноватится, возвращается к своей барже, бурлаки впрягаются в лямки. Один из них сплёвывает: «Никиту бы Ломова сюда! Могучий был мужик. Супротив этого бурлака никто бы не пошёл!»

Скоро баржа уже тянется вдоль Волги. Пусто. Пыльно.

Эту сцену наблюдают два молодых семинариста. Они стоят на высоком берегу. Один из них – Чернышевский. Молчат, ощущение тягостное.

Вдруг Чернышевский говорит:

– Хочу быть как Никитушка Ломов!

Его товарищ изумлён:

– Зачем?

Чернышевский, поясняя:

– Чтобы людям помочь. Надо сильным быть. Или много знать...

Моя мечта – стать благодетелем человечества.

– Ты сумасшедший? Много на себя берёшь!

– Наоборот, я нормальный, но без сверхзадачи ничего в мире не сделаешь.

Меж тем баржа уходит всё дальше, а перед взором Чернышевского, где-то в той стороне, на том берегу начинает выстраиваться некий мираж – хрустальный город, исполненный движения и света. Баржа идёт к нему, но не бурлаки теперь тянут её – она несётся сама, её увлекает вперёд удивительный механизм на её борту. Мелькают шкивы, крутятся шестерёнки, движутся рычаги. Наконец всё сливается в общем движении.

3

Комната молодого Чернышевского в Петербурге. Много книг, стол завален бумагами, здесь же – подобие верстака, в углу – модель механизма, в которой узнаём виденное в предыдущих кадрах: те же шкивы, шестерёнки, рычаги.

Приятель-семинарист, с которым говорил на берегу Волги, продолжая разговор, спрашивает:

– И чем же ты хочешь помочь людям? – Указывает на механизм в углу комнаты. – Уж не этим ли? Что за машина? Уж не вечный ли двигатель?

Чернышевский кивает головой: «Да».

Приятель, возмущаясь:

– Ты же образованный человек! Ты же знаешь, что Устав Французской Академии отвергает даже рассмотрение проектов вечных двигателей!

Чернышевский срывается с места, подбегает к книжным полкам, выхватывает брошюру:

– Вот твой Устав Французской Академии! – Откладывает в стопу прочитанных книг. – Человек создал Бога по своему образу и подобию. Это написал один великий немец. А Бог может всё. – Стучит себя в грудь. – Здесь вечный двигатель!

Вечный двигатель в углу внезапно начинает вращаться.

ГОЛОС РАССКАЗЧИКА:

Но это впереди, пока вернёмся в Саратов. Путь между Саратовом и столицей для Чернышевского пока ещё не изведен. Путь в столицу – это путь в чужой мир, куда его посылают родители.

4

Саратов. Идут толки о том, что Николая уедет учиться в университет. Инспектор семинарии Тихон, встретивши его мать, Евгению Егоровну, у кого-то в гостях, спрашивает её:

– Что вы вздумали взять вашего сына из семинарии? Разве вы не расположены к духовному званию?

На это мать Николая Гавриловича отвечает:

– Сами знаете, как унижено духовное сословие; мы с мужем и порешили отправить сына в университет.

– Напрасно вы лишаете духовенство такого светила, – говорит инспектор.

Дом Чернышевских. Отец Чернышевского, протоиерей, просвещённый, умный, нравственный человек, беседует об этом же с известным агрономом – писателем Иваном Устиновичем Палимпсестовым.

Палимпсестов:

– Зачем вы посылаете сына в университет? Был бы светилом Церкви.

Отец, после раздумья:

– Посылаю в мир. Должен в миру быть.

Так же у Достоевского: отошлёт в мир Алёшу Карамазова старец Зосима.

5

Петербург 1848 года. Петрашевцев везут на казнь. Среди них – Достоевский. Взволнованная и скорбная толпа. Чернышевский слышит гул толпы, но продолжает работать в своей петербургской квартирке, обложенный книгами.

Вбегает его новый знакомый по университету Аристархов (*фигура вымышленная, образ собирательный*):

– Идём! Идём туда! Цвет России гибнет! Там наш друг Ханыков! Петрашевский, Достоевский, Плещеев...

– Зачем? Множить толпу зевак?

– Ты не имеешь права так рассуждать! Мы должны продемонстрировать...

– Что же?

– А ты надеешься своей писаниной спасти Россию?!

– Да, надеюсь и попросил бы мне не мешать.

– Все твои занятия гроша ломаного не стоят перед этой казнью. Нужно делать что-то реальное, а ты – в кусты!

– Уходи.

– Нет, послушай до конца...

Чернышевский, не произнося ни слова, показывает Аристархову на дверь.

– Ты безумец! – кричит Аристархов. – Ты обуян бесом гордыни!

Чернышевский один. Его терзают сомнения: есть ли истина в словах этого человека? Идёт закадровый внутренний монолог. «Наверное, да, он, Чернышевский, обуян бесом гордыни. Ведь и впрямь, это скотство – сидеть и «сочинять», когда людей везут на казнь. Как легко попасть в историю – я, например, сам никогда не усомнился бы вмешаться в их общество и со временем, конечно, вмешался бы. Но не сейчас. Прежде – понимать, а действие... Что есть действие? Может, слово и есть действие? Но так ли? Это безнравственно, бесчеловечно. Не этому его учил отец. Но отец плохо знает о том, какой путь для себя приготовил его сын. А знает ли всё про этот путь сын? Какая судьба ожидает его? Верно ли он избрал её? Или она, не спросясь, избрала его? Ну, это будет видно – кто кого избрал. Гамлетовские сомнения – слабость!»

С характерной своей усмешкою он возвращается к работе, но тут же раздаётся рёв толпы. Как в кошмаре, видятся Николаю Гавриловичу искажённые лица его приятеля Ханыкова, Достоевского, жандармов, зевак, студентов, палачей на эшафоте, кажется, что откуда-то скачут конные, бегут мужики с топорами – да, это те же босоногие бурлаки с Волги. А кто ведёт их? Нет, это не он, не Чернышевский. Он там, на эшафоте, с адским треском ломается над его головой шпага, разлетается на куски гигантский вечный двигатель, невесть как оказавшийся посреди площади. Кругом раненые и убитые. Пустая баржа на пустынной Неве.

Чернышевский падает на колени:

– Господи, да минует меня чаша сия! Минует всех нас!

6

Молодёжь в доме известного журналиста, впоследствии академика и чиновника Цензурного комитета Никитенко. Окололитературные весьма горячие споры:

– А вы читали статью... имярека?

– Отвратительная статья! Я не читал, но мне рассказывали.

Входит Чернышевский. У него явно нет желания участвовать в спорах, он пришёл обменять книги, которые берёт у Никитенко. К тому же он замечает среди присутствующих Аристархова.

Когда Чернышевский уходит, кто-то спрашивает:

– Что это за херувим?

– Запомните его, – отвечает Никитенко, – это не простой студент – это мыслитель, который будет посильнее Белинского.

Аристархов хватается за голову:

– Херувим! Посильнее Белинского! Да ваш мыслитель на самом деле безумец! Одержимый! Разрушитель по природе своей! Я это чувствую в нём. Его надо бояться. Ещё недавно он делал вечный двигатель, а теперь заявил мне, что занятия дороже ему, чем жизнь людей, которых везут на казнь. Он монстр, он фантом!

Никитенко возражает ему:

– Помилуйте, почему разрушитель? Он пишет сейчас диссертацию об эстетическом отношении искусства к действительности. Знаете, какой там главный тезис? «Прекрасное есть жизнь»!

Аристархов:

– Он скрывает свои подлинные мысли, так же как под маской книжного червя скрывает свою чудовищную физическую силу.

Никитенко:

– Он очень талантлив. Уверяю вас, его диссертацию будет читать вся мыслящая Россия. Понимаете, как прозвучит панегирик жизни в стране, где мёртвых душ больше, чем живых?!

Аристархов печально:

– Я не спорю, что он талантлив. Но на что он употребляет свой талант?..

7

Снова Саратов. Дом Васильевых, родителей Ольги Сократовны, в которую Чернышевский влюблён. Гости – молодёжь, офицеры. Поют, музицируют, беседуют и на серьёзные темы. Стиль богемный, хотя и с несколько провинциальным душком.

Чернышевский разговаривает с Ольгой Сократовной.

Она – ему:

– Маман беспокоится, сможете ли вы содержать семью.

Он:

– Слышали ли вы о таком человеке, как Герцен? Когда его арестовывали, у его беременной жены случился выкидыш. Такая судьба может ждать и мою жену.

Ольга Сократовна смотрит на Чернышевского с любопытством, оценивающе.

Они идут с Ольгой Сократовной высоким берегом Волги. Внизу, у причалов, у дебаркадера вновь толпа. Но это не бунт – это провожают на Крымскую войну рекрутов. Смех, крики, бабий вой, пляски, кое-где и драка. Всеобщая неразбериха, мечется начальство – военное, гражданское и церковное, не могут построиться пьяные новобранцы. То ли праздник, то ли похороны.

– Вот закончим Крымскую кампанию, – произносит Ольга Сократовна тоном старательной ученицы, – победим, и всё станет хорошо.

– Вот если проиграем, тогда, может, кое-что ещё и будет, – отвечает Николай Гаврилович.

Ольге Сократовне это не нравится.

– Вы что ж, надеетесь на революцию? – проницательно спрашивает она.

– Возможно, это произойдёт.

– И вас не испугают ни грязь, ни мужики... с дубьём?

– Нет, не испугают. Пока человек молод, ему кажется, что он всё может преодолеть. В том числе и грязь, и дубьё. Но всё же цивилизация требует эволюции, в конечном счёте. Надо строить просвещённую и богатую Россию. Этому и буду служить.

Она не верит ему и отчасти подозревает бахвальство.

– И как же вы рассчитываете перетянуть на свою сторону Россию? Вот эту Россию? – чуть презрительно кивает она на толпу внизу.

– Как? А так, как Никитушка Ломов здесь в одиночку перетягивал купеческие баржи! Слыхали про такого?

И, не дожидаясь её ответа, он скатывается с обрыва вниз, расталкивает толпу, подбегает к барже, на которую только что погрузили новобранцев, и впрягается в бурлацкую бечеву. Нечеловеческое усилие – и вот он уже стронул баржу с места. Народ в остолбенении. Крики: «Стой! Куда-а?» Но подойти к нему бояться: вид его страшен. Ватага бурлаков повисает на кормовом канате, пытаясь удерживать баржу, но они мешают друг другу и валятся наземь. Мгновенная перемена настроения в народе – он ликует. Вверх летят шапки. Все вопят: «Ура-а!» Ольга Сократовна мечется по берегу, не понимая, смеяться ей или плакать. А Чернышевский, не разбирая дороги, по песку, по грязи тащит свой «корабль». На перемазанном и потном лице гордое сознание победы. (Так и Рахметов в романе.)

8

Затем они с Ольгой Сократовной в доме его родителей. Николай Гаврилович, очевидно, только что умылся и переоделся. Она рассматривает обстановку его кабинета. Ольга Сократовна уже пришла в себя от пережитого, прежняя весёлая насмешливость вернулась к ней. Загадочный механизм в углу привлекает её внимание.

– Значит, вы и вправду изобретатель вечных двигателей? – спрашивает она.

У него вид вдвойне виноватый:

– Это очень важная задача. К сожалению, на нынешнем этапе науки неразрешимая.

– О боже, – вздыхает она, сразу становясь взрослой дамой, – и за этого человека я собираюсь замуж!

Она вздрагивает, когда вдруг слышит, что вечный двигатель в углу медленно движется.

9

Жаркое лето. Степь, перелески. Ольга Сократовна и Чернышевский в бричке, гружённой сундуками и баулами, едут из Саратова в Петербург. Катит бричка, сменяют одна другую, как в калейдоскопе, картины (беззвучные) России, Николаевской России. Холерная деревня, каторжане, кого-то прогоняют сквозь строй, кого-то бьют. Царство мёртвых.

Дорогу пересекает воинская колонна, она идёт в Крым. Путь неблизкий, люди измучены. Ольга Сократовна машет им платочком. Николай Гаврилович напряжённо смотрит им вслед.

– Идут на бессмысленную смерть, – говорит он. – Государство – убийца!

– Но на войне всегда гибнут люди, – возражает она.

– Есть смерть ради жизни, – говорит он. – Смертию смерть поправ... Христос обещал жизнь вечную. И воскрес. А зачем погибли они?

– Ты хотел бы пойти к этим будущим страдальцам? – иронически спрашивает жена.

Николай Гаврилович хмурится и не отвечает.

– Тебе нельзя из-за близорукости, – продолжает она тем же тоном.

Она уже поняла своим женским чутьём, что с этим человеком может позволить себе всё.

Колонна скрывается за горизонтом в облаке пыли. И тут же удар грома. Ветер срывает шляпу с головы Николая Гавриловича. Гроза? Нет, это не гроза. И пыль на горизонте – не пыль, а дым сражения. И гром не гром – это залпы орудий! Крымские горы словно опрокидываются на русскую равнину!

Те же солдаты, которые только что прошли перед Николаем Гавриловичем, сейчас идут в штыковую атаку и падают, сражённые неприятельскими пулями. В Чёрном море – блестящая, с иголки, паровая эскадра английского адмирала сэра Непира. И тонут, тонут неповоротливые, устаревшие русские корабли, похожие на баржи.

10

И вот назад по пыльным дорогам влачится измученное, безропотное войско. Эшелоны раненых. Госпитали. Кровь. Трагедия унижительного поражения на лицах солдат и офицеров. Дамы в провинциальных городах и столицах бросают им цветы, подносят мужикам в изодранных мундирах рюмку водки. Но может ли это утишить солдатскую обиду и горечь? Скорее, наоборот – разжечь. (Об этом точно сказано у Л. Толстого в набросках к роману «Декабристы».)

А мыслящий литературный Петербург даёт обеды в честь героев войны. Обеды, обеды, обеды. Столы, заставленные едой и напитками. Разгул чревоугодия. Напыщенные ура-патриотические речи о силе русского оружия.

На один из таких обедов, в честь Льва Толстого, героя Крымской кампании, Некрасов везёт Чернышевского.

– Пойдёмте, вы скажете что-нибудь по существу. Ведь вы собирались о нём писать.

Тот отнекивается:

– Писать – это другое дело, а говорить, как вы знаете, я не мастер.

Тем не менее они едут. Застолье. Славянофил Константин Аксаков в «народном» одеянии – охабень, мурmolка. Тост: «Русский человек силён своей готовностью умереть. В этом его истинное христианское смирение».

Толстому не по себе:

– Что празднуем? Уничтожение Черноморского флота. Воистину счастливое событие!

Аксаков гнёт своё:

– Русский народ... В народе Христос...

Чернышевский – Толстому:

– Русский народ не собрание римских пап, существ непогрешимых. Получается, что вы цените народ за звание, за чин. За мужицкое звание – это ведь тоже звание. Ценить можно истину. Давно было спрошено: что есть истина? И истину нельзя утаивать ради мужицкого звания. Путь Христа к Истине шёл через Голгофу. Поэтому и смел Он сказать, что Он Сам есть Истина и Путь.

Толстой хмурится:

– Да и что такое Христос? Но в народе сила и власть.

После обеда Аристархов, по-видимому, слышавший слова Чернышевского, говорит Толстому:

– Я ведь предупреждал вас, что это непростой человек. А он приобретает теперь большое влияние на юношество. Он опасный человек! Впрочем... – подумав, добавляет: – Даже Христос был опасен.

11

Аристархов продолжает свою тираду, но собеседник его сейчас уже не Толстой, а генерал Потапов, начальник штаба корпуса жандармов и управляющий Третьим отделением собственной его императорского величества канцелярии.

Аристархов:

– ...Он опасен благодаря своему влиянию на юношество. Он лисица. Даже этот оригинал Лев Толстой, который не ценит никого, после статьи Чернышевского о нём стал говорить, что Чернышевский и умён, и горяч. В его устах это очень высокая похвала. То, что Чернышевский пишет в «Современнике», никак не соответствует его подлинным мыслям и намерениям. Они наловчились писать эзоповым языком. Сами наловчились и цензуру к своему противоестественному слогу приучили. Достигли того, что вещи отлично благонамеренные, но написанные слогом размашистым, весьма часто не проходят, а вещи противоестественные, написанные слогом, так сказать, вывороченным наизнанку, проходят весьма благополучно!

Потапов шутит:

– Что ж, для рассмотрения нигилистических сочинений определим цензора из нигилистов, разумеется, такого, который понимал бы нигилистические диалоги, но в сущности был бы человеком благонамеренным.

Аристархов:

– Не заблуждайтесь. Болезнь запущена, поражённые органы исцелить уже нельзя. Их надо отсечь. Иначе яд их привьётся всему организму.

– И какова же эта болезнь?

– Два учения, привившиеся нашему обществу. Материалистический фатализм, направленный к полнейшему искоренению всех начал нравственности, религии и закона. И коммунизм, прямо направленный к ниспровержению всех начал семейного, общественного и государственного устройства.

– Как же случилось, что пропаганда вредных учений могла зайти так далеко?

– Первый шаг они сделали, прикрывшись маской науки. «Бунты иногда не удаются, – говорит Чернышевский. – Есть другой, спокойнейший путь к разрешению общественных вопросов – путь учёного исследования». Вы слышите? «Бунты иногда не удаются!» Но, значит, они возможны! Хотя, в принципе, он их отрицает! Но это и опасно. В таком случае, знаете ли... Нет, он не бес. Но... бесы вокруг него.

– Вы знаете ближайших ему людей?

– Не всех. К сожалению, не всех. Офицеры Шелгунов и Обручев, литератор Михайлов, студент Утин.

– Не занимаются ли они также тайнопечатанием запрещённых книг и подмётных воззваний и манифестов?

– Я уверен, что да! И эта подмётная литература должна быть не что иное, как развитие, дополнение и полонение идей, замаскированных и недоговорённых в статьях нигилистских литературных органов.

– Мы чрезвычайно благодарны вам за вашу помощь. Мы видим, что вами движет святое стремление спасти Россию, спасти государя. Скажите, а не предполагаете ли вы, что у них есть сношения с лондонскими изгнанниками – Герценом и Огарёвым?

– Доподлинно мне не известно. Но «Колокол», по-моему, они читают. Я слышал, как они обсуждали одну статью оттуда.

– «Колокол» и государь-император почитывает. Вы поинтересуйтесь насчёт сношений...

12

Длинная колонна возвращающихся войск тянется мимо окон редакции «Современника». В редакции толчея – корректоры, метранпаж из типографии, авторы, зашедшие по делу и просто так, на огонёк, здесь же Некрасов, Панаева. Чернышевский в углу за конторкой правит вёрстку.

Разговор о новом императоре, о том, что Николай скончался, не выдержал Крымского поражения, мнил себя властелином Европы – и вдруг такой удар. Есть слух, что покончил жизнь самоубийством.

– Он был воплощением самодержавия, – говорит один из присутствующих. – Александр совсем другого склада человек.

– Ещё бы! – подтверждает кто-то. – Василий Андреевич Жуковский был его воспитателем!

– Реформы, реформы близки!

Да, все ждут реформ. Отмены крепостного права, судебных реформ, ждут, более того, Конституции. Тверские помещики пишут новому государю петицию о необходимости дать стране Конституцию.

Чернышевский не принимает участия в дебатах, хотя взоры всех присутствующих то и дело обращаются к нему, как бы за одобрением – он здесь уже авторитет. Но он лишь посмеивается по своему обыкновению, и не понять: то ли он слушает, то ли говорит сам с собой. Когда страсти совсем накалились и восторги по поводу пред-

стоящих реформ достигли какой-то черты, он тихо замечает (все, однако, тут же замолкают):

– Все эти ожидаемые реформы – мишура, о которой не стоит и говорить. Вот если бы союзники взяли Кронштадт... Нет, Кронштадт мало. – Решительно вычёркивает что-то из корректурного листа. – ... Если бы союзники взяли Петербург... Нет, и этого мало. – Снова вычёркивает. – Если бы они взяли Кронштадт, Петербург и Москву – тогда, пожалуй, у нас были бы реформы, о которых стоило бы говорить.

13

Петербург. Дом, где живут Чернышевские.

Донос агента:

– Вчера вечером в 8 часов пришли к нему какой-то военный, совершенно закутанный в шубу, и один статский, худощавый, со светлорусыми усами. Пробыв у него недолго, вместе с ним поехали на одном извозчике в шахматный клуб у Полицейского моста в доме Елисева по Канаве. Там собралось вчера человек до ста, почти исключительно литераторов, ибо по прочтении наскоро имён, записавшихся у швейцара в книге, встретились следующие: граф Кушелёв-Безбородко, Лавров, Краевский, Панаев, Некрасов, оба Курочкина, Крестовский, Писарев, Писемский, Апухтин и другие. («Дело...», стр. 94)

Чернышевский играет в шахматы с одним из близких ему людей, Антоновичем, тоже сотрудником «Современника». Вокруг с десятков или более человек следят за игрой, но главным образом ведут весьма далёкие от шахмат разговоры – литературные и политические. Шах-клуб, как его тогда называли, для того и создан: под легальной и невинной вывеской собираются для обсуждения животрепещущих вопросов петербургские либералы и якобинцы. Сейчас около Чернышевского идёт спор о только что появившейся в «Колоколе» статье Герцена, направленной против линии «Современника».

Самые горячие – Утин и Благодетель.

Утин:

– Друзья, вот уже несколько лет мы в «Современнике» последовательно и неуклонно разоблачаем либеральные иллюзии, как в части общественно-политической и экономической, так и в части литературной. Либеральное прекраснопустозвонство так называемого «обличительного направления» расценивалось нами как серьёзное препятствие на пути к действительному, а не мнимому освобождению народа! А что делает Герцен?

Имя произносится полушёпотом, но все, разумеется, понимают, о ком речь.

– Вот тут я получил честное письмецо...

Вынимает из кармана листочек, подмигивает, все безусловно понимают, что это выписки из запрещённого герценовского «Колокола».

– Вот что мне пишут: «В последнее время в нашем журнале стало веять какой-то тлетворной струёй, каким-то развратом мысли...» Вы слышите: «тлетворной струёй», «развратом мысли!» И дальше – это уже прямо в нас: «Журналы, сделавшие себя пьедесталом из благородных негодований и чуть не ремесло из мрачных сочувствий страж-

душим, катаются со смеху над обличительной литературой...» Да, да, он пишет, что это редакторы «Современника»...

Антонович, отрываясь от шахматной доски:

– Да, Добролюбов был прав, когда порицал либеральную беллетристику, которая черпает силы для восстания в правительственных распоряжениях. Хороши наши передовые люди – успели пришить в себе чутьё, которым прежде чуяли призыв к революции! Сидят себе в Лондоне, ничего не понимают!

Благосветлов, журналист, демократ, один из наиболее решительных:

– Теперь у них на уме мирный прогресс при инициативе сверху.

Всеволод Костомаров, будущий провокатор, с плохо скрытой неприязнью к спорящим:

– Что ж тут удивительного: мы нападали на них, теперь они нападают на нас. Природа, гласит пословица, не терпит пустоты.

Добролюбов:

– Я лично не очень убит неблагоприятием Герцена, но Николай Алексеевич, – показывает на Некрасова, сидящего в буфетной (около того свой кружок), – обеспокоен. Он считает, что это обстоятельство связывает нам руки, так как значение Герцена для лучшей части нашего общества очень важно. Он чуть ли не решается ехать в Лондон для объяснений.

Чернышевский, очевидно, внимательно прислушивается к тому, что говорит Добролюбов, и забывает сделать очередной ход.

– Николай Алексеевич сказал даже, что этакое дело может кончиться дуэлью. Этого я не понимаю и одобряю, но необходимость объяснения сам чувствую и для этого готов был бы сам ехать.

Благосветлов:

– Эх, какой чепухой мы принуждены заниматься! К топору надо звать Русь, к топору! Ведь «Колокол» об этом пишет. Вы согласны, Николай Гаврилович?

Чернышевский:

– Ну уж нет! Это из Лондона легко делать! Каждый из нас маленький Наполеон или, лучше сказать, Батый. Но что же тогда произойдёт с обществом, которое состоит сплошь из Батыев? Во всё вносится тогда идея произвола. В каждом кружке, в каждом деле свой Батый. А под Батыем баскаки, а под баскаками... Вам мат, сударь.

Выходит. Несколько человек провожают его до гардеробной. Сцена ухода и одевания идёт без звука, под доклад филёра:

– Они все составили кружки и говорили между собою шёпотом, за шахматными столиками сидело по несколько человек. Чернышевский ораторствует иногда в клубе, и поклонники его обыкновенно следуют за ним, при уходе, в прихожую. Сегодня Чернышевский, бывший, вероятно, не в духе, обратился к этим поклонникам со словами: «От вас отбою нет; что вы ко мне пристаёте!» Это ему много повредило. Когда он удалился, те сказали: «Чёрт его подери! Что он себе воображает, что мы его слуги?!»

Чернышевский спускается вниз по лестнице шах-клуба. Поскальзывается, в сознании вспыхивает детская картина: откос, Волга...

Монолог:

«Вот и этот... сидит в Англии, а думает как русский Батый. Думает верховодить нами. Напал на Добролюбова. Всё это тщеславие. России не знает. Разбудит крестьянский бунт, но осмелится ли этот барин стать Пугачёвым? Просвещённым Пугачёвым. Моя бабушка говорила, что пугачёвский бунт – просто разбой, но большого размера. Или Робеспьером, Брутом... Или только будет поджигать умы. – Тихонько смеётся. – Нет, в Лондон надо ехать мне. Мне!»

14

Аристархов вновь у генерала Потапова, управляющего Третьим отделением. Потапов рассказывает по кабинету, держа перед собой лист бумаги – анонимное письмо, читает про себя с удовольствием, крутит головой, смеётся. За кадром проникновенный, взволнованный, донельзя искренний голос. Не потаповский – анонима.

– Что вы делаете, ваше высокопревосходительство, пожалейте Россию, пожалейте царя! Вот разговор, слышанный мною вчера в обществе профессоров. Правительство запрещает всякий вздор печатать, а не видит, какие идеи проводит Чернышевский – это коновод юношей, это хитрый социалист, он мне сам сказал, – говорит профессор, – что «я настолько умён, что меня никогда не уличат». За пустяки ссылаете, ваше высокопревосходительство, а этого вредного агитатора терпите. Неужели не найдёте средств спасти нас от такого зловредного человека? Передаю вам впечатление, вынесенное из общества людей, десять лет знающих Чернышевского, бывших приятелей, но теперь, видя его тенденции уже не на словах, а в действиях, все весьма либеральные люди, но настолько благоразумные, что они сознают необходимость существования у нас монархизма, отделились от него и убеждены, что ежели вы не удалите его, то быть беде: будет кровь – везде он опасен. Не я говорю это, говорят учёные дельные люди, от всей души желающие Конституции, но путём закона, земской думы, но по призыву царя. Не даст царь ни того, ни другого – Господь ему судья. А так – крови не минуете и нас всех сгубите. Это шайка бешеных демагогов, отчаянные головы, быть может, их перебьют, а сколько невинной крови за них прольётся! Тут же слышал, что в Воронеже, в Саратове, в Тамбове – везде есть комитеты из подобных социалистов, и везде они разжигают молодёжь... Я сам не знаком с этим злодеем, пишу то, что вчера случайно слышал. Теперь каждый честный человек обязан указывать правительству всё, что слышит, что знает, ибо общество в опасности, сорванцы бездомные на всё готовы. И вам дремать нельзя – на вас грех падёт, коли допустите их до резни, а она будет, чуть задремлете или станете довольствоваться полумерами... Избавьте нас от Чернышевского – ради общего спокойствия. («Дело...», стр. 146)

Последние слова генерал повторяет: «Избавьте нас от Чернышевского ради общего спокойствия». Потом говорит:

– И рады бы избавить, но, увы, пока нет зацепки. Он, и верно, умён, уличить его трудно... И вот я думаю... ну почему этот действительно умный человек не с нами, почему он выступает против

нас?! Ответьте мне, разве мы не хотим обновления России? Разве мы не сознаём, сколько зла сохранилось ещё в нашей общественной и частной жизни? Разве все просвещённые люди сегодня не согласны, скажем, с необходимостью полного освобождения женщины, предоставления ей всех тех политических и гражданских прав, которыми пользуются мужчины? Разве не говорим мы о необходимости военной реформы, об увеличении жалования войску и сокращении срока службы солдату? – Окончательно входит в раж. – Да, я готов почти целиком подписаться вот под этой прокламацией. – Хватает со стола прокламацию («К молодому поколению») и потрясает ей в воздухе. – Я же знаю: написана она друзьями Чернышевского или им самим – точных данных у нас ещё нет, но я готов подписаться под нею! «Мы хотим, чтоб земля принадлежала не лицу, а стране, чтоб у каждой общины был свой надел, чтобы личных землевладельцев не существовало, чтобы землю нельзя было продавать, как продают картофель или капусту...» Я – согласен! У меня нет личной земельной собственности, я живу на жалование! Так, скажите, почему я не могу договориться с господином Чернышевским? Почему этот государственный ум не может работать вместе с нами?

Аристархов (задумчиво):

– Быть может, дело в психологических особенностях этих господ?

– Что, самомнение немереное, честолюбие, неудовлетворённые амбиции? Пустое.

– Может быть, автор имел в виду несколько иное обстоятельство... Ведь большинство из них – разночинцы. Отчего же сбрасывать со счетов этот факт? Отсюда и неудовлетворённое тщеславие, и озлобленность, и неуважение к традиции. Высокая культура России – это дворянская культура, они её не знают. Они же люди из народа. Более того, из поповского сословия. А попы у нас в хорошее общество не допускаются. Конечно, попы ближе к народу.

Потапов:

– А мне чудится, что хоть они и люди из народа, а народа они не знают, страны не знают. Они чужды этой стране, они вне её. Они не знают, сколь неповоротлива эта страна, сколь тяжёл этот народ. Они не пробовали, оттого им кажется, так легко их повернуть, одним скачком достичь результатов, для которых требуются целые века исторической жизни. А мы пробовали – не скачком, конечно, но хоть немного поворотить эту махину. Мы понимаем, на опыте знаем, как это трудно. Мы поэтому реалисты, материалисты, если угодно, а они идеалисты. Они малейшей акции не могут совершить – вон, поладить между собой... А собираются переделать душу русского мужика, раба и татарина.

Помолчав:

– Да к тому же не забывайте, что Чернышевский – титулярный советник, то есть дворянин, то есть принадлежит к привилегированному сословию. Высокая культура – это и его культура.

Аристархов:

– Кстати, есть слух, что Чернышевский собирается в Лондон, к Герцену.

– Пусть едет. Они не поладят, голову даю на отсечение. А своего человека натурально вместе с ним пошлём.

– Не обратили ли вы в этой связи внимания на корнета Всеволода Костомарова? Кажется, он очень ими оскорблён.

– Да, мы заметили его. Но не думаю, что он подходит для поездки в Лондон. Как это там у Пушкина: «Он слишком был смешон для ремесла такого...» Впрочем, посмотрим. Прибережём его, пожалуй, для чего-нибудь иного.

15

Квартира Чернышевских. Николай Гаврилович у себя в кабинете, работает. Из комнат Ольги Сократовны доносятся шум голосов, музыка – там гости.

К Чернышевскому приезжают двое – Николай Утин, вернейший его почитатель из студентов, и Всеволод Костомаров, сейчас тоже почитатель, но в недалёком будущем провокатор, который сыграет злодейскую роль в «деле Чернышевского».

– Николай Гаврилович, пора ехать. Нас ждут.

Тот не в восторге, вздыхает, злится, но смиряет себя, собирается. Прячет какие-то бумаги в стол, тщательно запирает его, приговаривая: «Конспирируем, значит». Потом тщательно запирает дверь в кабинет, в прихожей кутается в плащ. Выходят чёрным ходом. «Конспирируем», – повторяет Чернышевский. Утин, на этот раз расслышав его, подхватывает с удовольствием: «Да, конспирируем!»

Идут в казармы. Тёмный, почти уже ночной Петербург. Кордегардия (офицерское караульное помещение при казармах). Там обстановка полудомашняя, самовар, вино. Народу порядочно: офицеры, студенты, в том числе и кавказцы. Похоже на дружескую пирушку. Однако при появлении Чернышевского и его спутников тотчас выставляются дозорные из солдат.

Появляется встревоженный Шелгунов, подполковник, человек из ближайшего окружения Чернышевского.

– Господа, прошу извинить, сегодня у нас беспокойно. Поедёмте во Флотский экипаж. Там предупреждены.

Костомаров, обращаясь к Чернышевскому, фамильярно и заискивающе:

– Ха-ха, Николай Гаврилович, что, рыбку половим?

Чернышевский – с евангельской простотой:

– Не ловцами рыб, а ловцами человек хотел бы вас сделать.

Залив, силуэты лодок, кораблей, барж. Чернышевский, слушатели.

Чернышевский говорит о молодом поколении:

– Недавно зародился у нас этот тип. Прежде были только отдельные личности, предвещавшие его; они были исключениями и, как исключения, чувствовали себя одинокими, бессильными и от этого бездействовали, или унывали, или экзальтировались, романтизировали, фантазировали, то есть не могли иметь главной черты этого типа: не могли иметь хладнокровной практичности, ровной и расчётливой деятельности, деятельной рассудительности. Недавно родился этот

тип и быстро расплывается. Он рождён временем, он знамение времени, и – сказать ли? – он исчезнет вместе со своим временем, недолгим временем. Его недавняя жизнь обречена быть и недолгою жизнью.

Его слушают затаив дыхание. Николай Утин не выдерживает, восхищённо восклицает: это, дескать, новая Нагорная проповедь.

Чернышевский продолжает говорить, а мы видим Костомарова, и голос его скоро перекрывает голос Чернышевского.

(Цитата из письма Костомарова Соколову. Это письмо дало голицинской комиссии основной материал для обвинения Чернышевского.)

Костомаров к сцене во Флотском экипаже:

– ...Я не могу вам точно пересказать то, что он проповедовал, слов не помню, а смысл понятен. Со стыдом сознаю: результат на первых порах был тот, что я стал благоговеть перед Чернышевским, как перед человеком, который, казалось мне, держит в своих руках судьбы всея Руси. Живо помню то впечатление, которое произвели на меня наши собрания. Это было какое-то странное, опьяняющее впечатление! Словно туман застилал глаза, он входил в самый мозг... Страшно и мерзко становилось мне, и вместе с тем зарождалось какое-то безотчётное удалство, так и подмывало схватить топор или нож, так и хотелось рубить и резать, не разбирая, кого и за что... Как Афанасию Фету при виде обоза русских мужичков стал понятен миф об Амфионе, под звуки флейты которого сами собой складывались фивские стены, так мне впервые стала понятна сила Марсельезы... О, сколь обаятельна была сила лукавого слова этих людей!.. Потом, как и всякое опьянение, впечатление это рассеялось. И через несколько времени я уже был в состоянии понять, что же такое на самом деле эти слова...

16

Редакция «Современника». Обычная редакционная круговерть, спешка, но за дверями в гостиную, у Некрасова, слышны особенно возбуждённые голоса, спор. Доносится: «Да, он мешает!»; «Это направление ложно!»; «Россия живёт предстоящими реформами, а мы...»; «Тише, господа, тише».

Чернышевский, да и остальные, в том числе Добролюбов, настроенно прислушиваются. Очевидно, что за дверями ссора, и те, кто находится в этой комнате, примерно понимают, в чём дело.

Наконец Чернышевский подымается, достаёт из стола какой-то свёрток, подзывает к себе метранпажа Михайлова (тот полупьян, но человек верный). Чернышевский тихонько велит ему отнести свёрток по адресу (к Серно-Соловьевичу).

– Снесу, снесу, – кланяется тот. – Александру Сергеевичу носил и вам снесу. Только вот покойный без рубля серебром не отпускал.

Чернышевский даёт ему деньги, а сам идёт к дверям гостиной.

Входит. У Некрасова собрались виднейшие авторы «Современника», известные русские литераторы: Дружинин, Тургенев, Толстой, Григорович, Панаев. При появлении Чернышевского все замолкают.

– Господа, я вам мешаю? – спрашивает Чернышевский.

– Не нам, а «Современнику!» – взрывается Григорович.

Дружинин:

– Мало того, что сам. Ещё и этого мальчишку Добролюбова привёл. Чернышевский пытается сохранить хотя бы видимость приличий:

– Николай Алексеевич, – обращается он к Некрасову, – почему они нападают на Добролюбова? Господа думают, что они соль земли, что их литературный талант неизмеримо выше таланта Добролюбова. Но понятия Добролюбова о литературе и жизни подходят к направлению «Современника», и это для нас важнее прочего. Что же касается таланта, то об этом судить будет история. И кто в ней останется, и как? Давайте думать не об этом, а о реальной пользе журнала.

Кладёт на стол Некрасову вёрстку и удаляется.

Некрасов, подойдя к окну, дипломатично:

– Выдь на Волгу...

Тургенев – Панаеву (тихо, иронично):

– Кто из них змея простая, а кто очковая? Очковая – Добролюбов, Чернышевский терпимее, хотя не сильно.

Толстой (эпически):

– Все они с Волги. Я тут кумыс к башкирцам ездил пить, через мордву...

Дружинин ёрничает:

– Волга – мордовская река. Мечь мордвы! Смешно! Мечь провинции.

Тургенев (элегически):

– И всё же меня удивляет, каким образом Добролюбов, недавно оставив семинарию, мог там основательно познакомиться с хорошими писателями.

Литераторы откланиваются. В дверях Дружинин останавливается:

– Надеюсь, Николай Алексеевич, мы предельно ясно высказали свои условия.

Некрасов один:

– Нет, Чернышевского с Добролюбовым я не отдам. Они мне нужнее. А Запад они знают не хуже Тургенева. И ценят его.

17

Гости у Ольги Сократовны. Компания весёлая, горячая. Кто-то ведёт пылкие и серьёзные разговоры, кто-то, как любит выражаться Николай Гаврилович, дурачится.

Чернышевский у себя в кабинете.

Ольга Сократовна сидит с молодой дамой. Та исповедуется:

– Мой муж карьеру хочет устроить через меня. Противно. Я же люблю Неледина. (Неледин здесь же.) Но только... кажется... (Пауза.) Он ваш любовник?

Ольга Сократовна отвечает, что это пустяки.

– Нас, женщин, угнетают не только мужчины, но и самодержавие! Женщина должна быть свободной. Женщина играла до сих пор такую ничтожную роль в умственной жизни потому, что господство грубого насилия отнимало у неё и средства к развитию, и мотивы стремиться к развитию. Когда пройдёт господство глубокого насилия, женщина

едва ли не оттеснит мужчину на второй план, потому что организация женщины едва ли не выше, чем мужчины.

И далее в этом роде. Речь суфражистки плюс напор провинциальной завоевательницы.

– Нам формально закрыты почти все пути гражданской жизни. Нам практически закрыты очень многие – почти все – даже из тех путей общественной деятельности, которые не загорожены для нас формальными препятствиями...

Она может говорить и дальше – цитаты особенно из четвертого сна Веры Павловны здесь очень подходят. Но её уже перебивают. Кто-то кричит:

– Бросьте ваши бабьи штучки! Петербург жечь надо!

В это время вваливается в помещение со своей обидой заматерелый, обросший пьяный бурсак – бывший семинарист, друг детства. Вместо «здравствуйте», ревет:

– Вы думаете, в ваших столицах первые головы собрались?!

Чернышевский неохотно и тихо спускается сверху, как бы с горы. Устраивается у краешка стола, ест очень немного.

К нему обращается юноша «со взором горящим»:

– Николай Гаврилович! Историю надо взнудать! Скажите, что и как делать для этого?!

Чернышевский:

– Увы! История тем и характерна, что прогресс идёт крайне медленно.

Кто-то со стороны невпопад:

– Вы что, Николай Гаврилович, в постепеновцы подались?

Но тут снова вклинивается саратовский бурсак:

– Вы здесь, в Петербурге, все постепеновцы! Все продались. Неторопливость, постепенность, медленный прогресс... Все ваши Оболдуй-Таракановы, все ваши Герцены и Ицки... Все заладили одно и то же! А ты думаешь, что я нетерпимый. Врёшь! Нет! Я не Петербург – я мир подожгу!

Бурсака мало кто слушает. Девицы и молодые дамы с хохотом гоняются друг за другом по комнатам, играя в салочки, молодые люди нестройно затягивают песню, дама, которая жаловалась на карьериста мужа, целуется с Нелединым...

Наконец Чернышевские остаются одни.

– Ты чем, голубушка, удручена? – заботливо спрашивает Николай Гаврилович. – Этой историей с Савеловой? Ну и пусть уходит от мужа-мерзавца.

– Но она же собирается к Неледину! – несколько неосторожно отвечает Ольга Сократовна.

– Вот и хорошо. Женщина должна быть свободна. Ты сама это знаешь. А на то, что говорят, не обращай внимания, дружок. Даже когда говорят что-нибудь плохое о нас с тобой, не думай об этом. Скажу тебе одно... – Подымаются вверх по лестнице. – Наша с тобой жизнь принадлежит истории. Пройдут сотни лет, а наши имена всё ещё будут милы людям. И будут вспоминать о нас с благодарностью, когда уже забудут почти всех, кто жил в одно время с нами. Так

надобно и нам не уронить себя со стороны бодрости характера перед людьми, которые будут изучать нашу жизнь...

(Так в письме к Ольге Сократовне. «Дело Чернышевского», стр. 264)

18

Странная фигура бесцельно мечется по петербургским улицам. Шаг неровный, человек то остановится, то чуть не вприпрыжку бежит, разговаривает сам с собой, размахивает руками, он возбуждён, прохожие оглядываются на него и подозревают, что он ненормален. Это Всеволод Костомаров, он беседует с невидимым корреспондентом, он вслух сочиняет письмо неведомому другу.

— ...Разумеется, мой дорогой друг, я буду очень короток и скажу вам только то, что необходимо вам знать пока, чтоб вам не показалось странным то озлобление, с которым я, при всём моём желании быть сдержаннее, не могу не говорить об этом человеке... С чего начать?.. Чернышевский — так, по крайней мере, я понимаю его — человек с самолюбием необъятным. Он, без сомнения, считает себя самым умным человеком в мире. Он даже и не думает делать секрета из такого самопризнания. Вследствие такого бесцеремонного взгляда на самого себя, ему, конечно, кажется, что всё, что сделано не им, никуда не годится. Молодое поколение воспитывалось не в его школе (по крайней мере, не все) — молодое поколение дрянь! Общество устроилось не по его методе — ну и оно дрянь. Да нечего тут пересчитывать — всё существующее идёт в брак, в ломку! «Все права и блага общественной жизни, — например, говорит он, — находятся теперь в нелепом положении». Итак — давайте всё разрушать!.. Но, наделённый от природы такими воинственными наклонностями, наш разрушитель не одарён, к сожалению, большой храбростью. Он так полагает: чем мне погибать под обломками старого здания, я лучше пошлю других... («Дело...», стр. 184–185)

19

Но надо ж случиться такому! Попутчиком Николая Гавриловича оказывается некто Бахметев, едущий к Герцену. Это тот самый Бахметев, бывший ученик Чернышевского в Саратовской гимназии, который впоследствии отчасти послужит прообразом Рахметова. Но более достоверно он описан Герценом в «Былом и думах». Это, скорее, Ноздрёв, ударившийся в революционную метафизику больше по неоседливости и необузданности характера, чем по убеждению. Русский барин, волжанин, лихой и загульный, продавший — как выяснится в фильме чуть позже — своё имение, чтобы пожертвовать деньги на революцию. Пока же он пьёт, гуляет, поносит размеренную, трезвую и мелочную Европу. По Герцену, мы знаем, что ненависть его к европейской упорядоченности была столь велика, что он, оставив почти все свои деньги (вырученные за имение) Александру Ивановичу, пулей полетел через Европу и затерялся где-то в первобытном хаосе латиноамериканских схваток и инсургенций.

Бахметев ругает Европу, жалуется заодно на своего самарского предводителя дворянства, на немца-губернатора, рассказывает доволь-

но путано о собственной путаной жизни, а Чернышевский убеждает его вернуться в Россию. Берёт его на российскую чувствительность, на любовь к матушке-Волге. Тот рыдает.

– Настоящая Россия на Волге, а не на Темзе, – говорит Чернышевский.

А перед самым Ламаншем, в толпе, ждущей парохода, Бахметев оказывает немалую услугу Чернышевскому: сталкивает в воду филёра, которого Николай Гаврилович заметил ещё в поезде.

И вот они у Герцена. Богатый, роскошный дом Александра Ивановича, антикварная мебель, дивные полотна. Всё это Чернышевского коробит, тем более что узнаётся наконец цель поездки Бахметева – тот вываливает на стол из завязанной узлом салфетки привезённые деньги. Тем не менее Николай Гаврилович сдерживается.

– Александр Иванович, – говорит он, – вы призваны историей. Вы для России сейчас подлинный Александр-освободитель, тот и в самом деле «второй», рядом с вами – «первым». Вам отдадут сердца и капиталы. Вот ещё одно доказательство не даст соврать. – Указывает на деньги, подходит к столу, машинально складывая развалившуюся кучу в маленькие стопочки, аккуратист. – ...Однако я должен сделать вам реприманд. Не о том ваши главные заботы.

Чернышевский уже раздражён.

– Вы фиглярничаете в своём «Колоколе». И сейчас к чему зубоскальство? Неужели вы не чувствуете своей ответственности перед историей? Вы заразились славянофильской слепотой. И критикуете мелких мерзавцев. Позиция скептическая, но не решающая проблем. Надо выбрать общую позицию, скажем, конституционную, и её проводить, а все обличения будут поддерживать эту идею.

Герцен:

– Что за манера решать так дела? Ведь Россия – моя страна! У неё есть свой уклад, есть община... При чём здесь скепсис? Уж мне ли не знать Европы. Европа – обречённая страна. А вы в вашем «Современнике» ведёте себя как заштатные европейцы. Все ваши статьи заёмные, к делам российского обновления они касательства не имеют.

Бахметев, осознав в конце концов, что оба его кумира – один давнишний, другой новообретённый – не могут поладить меж собой, вскакивает. Со слезой восклицает:

– А-а, разбирайтесь сами! Пойду искать по свету, где оскорблённому есть чувству уголок!..

Чернышевский вслед за ним тоже откланивается. Соглашение, желанное объединение не состоялось. Наоборот, пахнет расколом, катастрофой, трагедией.

20

Похороны Добролюбова. Трагедия усугубляется. Литературный вечер, полный зал молодёжи. Николай Гаврилович говорит о Добролюбове – речь встречают овациями.

Разочарование студентов, которые ожидали от Чернышевского революционной речи. Рассказывает один (Николадзе, актёр должен быть кавказской наружности) другому:

«Он не читал, а говорил как с приятелями, скромно, тихо, о своём знакомстве с Добролюбовым, о его добросовестности в работе. Иногда трогал свою цепочку от часов, но, вообрази, – никаких жалоб на гнёт власти не высказывал. Ничего бесцензурного, никаких революционных заключений. А потом просто встал и ушёл. Представь! Зал так и ахнул от разочарования. Никто не верил, что это тот самый Чернышевский!»

Донесение агента, увидевшего прямо противоположное, – оно комментирует происходящее на экране:

– Вчера в 9 с половиной часов утра был вынос тела умершего 17-го числа литератора Добролюбова. В квартире его на Литейной собралось более 200 человек литераторов, офицеров, студентов, гимназистов и других лиц...

Потом говорил Чернышевский. Начав с того, что необходимо объявить публике о причине смерти Добролюбова, Чернышевский вынул из кармана тетрадку и сказал: «Вот, господа, дневник покойного...» Вообще вся речь Чернышевского, а также Некрасова клонилась, видимо, к тому, чтобы все считали Добролюбова жертвою правительственных распоряжений и чтобы его выставляли как мученика, убитого нравственно – одним словом, что правительство уморило его. Двое военных – из бывших на похоронах – в разговоре между собой заметили: «Какие сильные слова! Чего доброго его завтра или послезавтра арестуют». («Дело...», стр. 75, 76)

21

Петербург. Квартира Серно-Соловьевича. Присутствуют Чернышевский, Николай Серно-Соловьевич, Александр Слепцов, Николай Обручев. Зарождается организация «Земля и Воля». Впрочем, окончательно ещё ничего не решено, разговор идёт лишь о самых общих принципах и возможных кандидатурах.

Слепцов только что вернулся из-за границы, где встречался с Герценом и знаменитым итальянским революционером Мадзини. Николай Гаврилович чуть скептически усмехается, но слушает внимательно. Правда, Слепцов тоже не в восторге от Герцена: «Всё же в душе моей остались сомнения...»

– Мадзини, – рассказывает Слепцов, – говорил изумительные вещи. Он уверен не только в окончательном успехе итальянского объединения под знамёнами Гарибальди, но и в том, что скоро будет революция славянская!

– Да, – смеясь, замечает Николай Гаврилович, – он всегда предвидит где-нибудь революцию на завтрашний день.

– Он и у нас ожидает революцию! – восклицает Слепцов восторженно. – Мадзини советовал организовать... И вот об этом-то, Николай Гаврилович, мы и хотели, собственно, поговорить с вами, послушать, что вы скажете.

– Что же, думаете заняться организацией тайного общества?

– Нет, тайного общества мы, собственно, ещё не предполагали. Мы предполагали только, что сначала следует нам присмотреться к силам... наметить общие идеи...

– Что ж, это разумно, – твёрдо говорит Чернышевский. – И каковы же ваши идеи?

– Земля и воля. Так можно бы назвать наше общество! Так предложил Герцен. Программа, по нашему мнению, должна сводиться к следующей аксиоме: «Конституцию нам ещё могут дать, но земскую думу, народный парламент надо взять, и взять её надо для того, чтобы крестьяне получили землю без выкупа, обрели самостоятельность, а население получило те свободы, которые ведут к социализму».

– Мы считаем, – взволнованно вступает Серно-Соловьевич, – что организация должна быть разбита на пятёрки. При этом каждый из членов пятёрки имеет около себя свою пятёрку. Таким образом, если в пятёрке состоят члены – а, б, в, г, д, – то около каждого из них оказывается не более восьми знающих его лиц. Четверо из этой пятёрки, к которой он присоединён, и четверо из той, которую он сам присоединил. В крайнем случае, пострадают лишь восемь человек. Вновь присоединённые сообщаются с той пятёркой, в которой присоединяющий получил, так сказать, крещение. Затем всё передаётся уже по восходящей линии, так что всех членов всех пятёрок знает только центр...

Чернышевский останавливает его:

– Пятёрки, центр... Что за бред!

В возгласе его смешались и мука, и недоверие собственным ушам. Его посещает ужасная мысль, что всё это безумие, историческое безумие, приводящее к трагедии, и он злится на легкомыслие молодых людей. Его наперебой начинают уверять, что есть силы, есть. И в Тамбове, и в Воронеже, и в Вологде – всюду есть люди. О московском кружке Зайчневского он и сам знает. Все готовы приняться за работу. Ждут только слова, быть может, его слова, Николая Гавриловича.

– За меня дело решила смерть Николая Александровича Добролюбова, – сухо говорит Николай Гаврилович, – и неспособность Некрасова вести теперешний журнал одному. Работать же, как сейчас, в «Современнике» и у вас – извините, с вами – я не вижу физической возможности. Когда я увижу возможность хоть в какой-то мере заменить кем-то Добролюбова, вернёмся к этому разговору. Но всё-таки «Современник» для меня важнее. Он мне дорог как кафедра, которой не должно лишаться ни мне, ни вам, поскольку вы разделяете общий его тон.

Все сокрушённо молчат. Отказ, пусть завуалированный, очевиден.

А за окнами уже подымается зарево страшных пожаров мая 1862 года. Горят Большая и Малая Охты, горят дома в Ямской, пылает Апраксин двор. По улицам мечется объятый ужасом обездоленный люд. В пожарах видят злодейский умысел. Чей? Нигилистов, студентов. «В народе носится слух, – пишет «Северная пчела», – что Петербург горит от поджогов и что поджигают его с разных сторон триста человек. В народе указывают и на сорт людей, к которому будто бы принадлежат поджигатели, и общественная ненависть к людям этого сорта растёт с неимоверной быстротой... Не подлежит сомнению, что пожары происходят вследствие заранее обдуманного плана...»

Петербург охвачен коллективным безумием. На грязных, смрадных, окутанных дымом улицах озверевшие обыватели хватают «подозрительных», бьют их смертным боем, волокут в полицию. Повозки с уже арестованными едва прокладывают себе путь среди толп, требующих отрубать преступникам головы, четвертовать, бить кнутом, пытать, пока не сознаются. Появившаяся в городе прокламация «Молодая Россия» подливает масла в огонь в буквальном смысле этого слова. В городе введено нечто вроде военного положения, улицы патрулируются войсками, специально учреждённому комитету велено: «...всех, коих могли бы взять с поджигательными снарядами и веществами или по подозрению в поджигательстве, равно подстрекателей к беспорядкам, судить военным судом в двадцать четыре часа». Следственный комитет обнаружил и такое воззвание: «Долг каждого обывателя – доводить до сведения правительства всё, что касается как общего блага, так и вреда. На этом основании комиссия, независимо от официальных мер, обращается к обывателям столицы с приглашением содействовать ей со своей стороны в исполнении возложенного на неё поручения, прося всех и каждого сообщать обо всём, что в настоящем случае может быть полезным». Ясно, что каждый читающий это воззвание видит в находящемся рядом человеке одновременно и возможного поджигателя, и возможного доносчика.

До чего накалились страсти, иллюстрируется следующими событиями (на экране они также разворачиваются беззвучно, голос за кадром читает заметку, обошедшую тогда все русские газеты): «Известно, – говорилось в газетах, – что в Духов день бывает гулянье в Летнем саду. По обыкновению, и в этот год собрались туда гуляющие, как вдруг одновременно с начатием пожара раздались крики: «Горим! Горим!» – и вслед за тем поднялась суматоха, начался в полном смысле грабёж, начали срывать бурнусы, вырывать часы и пр., пока не подоспела полиция (если успела)». «Очевидцы этого эпизода рассказывали, – добавляет мемуарист Л. Пантелеев, – что действительность далеко превосходила то, что можно вообразить, прочитав приведённое описание. Срывали брошки, вырывали серьги из ушей, прямо хватали за карманы и опоражничали их. Была ли следственной комиссией установлена связь между пожаром Апраксиного двора и эпизодом в Летнем саду – это осталось неизвестным».

22

В квартиру Николая Гавриловича на Большой Московской улице вбегают Фёдор Михайлович Достоевский. Он в панике ото всего происходящего, он измучен, он на грани эпилептического припадка. Умоляет Чернышевского «не жечь Петербург».

– Остановите взбесившихся юнцов! Ваше слово много для них значит!

– Неужели вы предполагаете, что я солидарен с ними?

– Именно не предполагаю, – отвечает Достоевский, – и даже считаю ненужным вас в том уверять. Но во всяком случае их надо остановить во что бы то ни стало. Ваше слово для них веско, и, уж конечно, они боятся вашего мнения.

– Я никого из них не знаю.

– Уверен и в этом. Но вовсе и не нужно их знать и говорить с ними лично. Вам стоит только вслух где-нибудь заявить ваше порицание, и это дойдёт до них.

– Может, и не произведёт действия.

Он вспомнил, как говорил радикально настроенным студентам: «Успокойтесь, господа. Вы точно как Бурбоны, которые ничему не научились. Ни тюрьма, ни ссылка не научают вас». В ответ они смеялись и шутили, что, хотя сам Николай Гаврилович занят только наукой, он тоже не застрахован от ареста. Он тогда ответил: «Увы, так бывает. Мыслители, отыскивающие средства к устранению тех недостатков, из которых проистекают гибельные для всего общества катастрофы, подвергаются насмешкам и клевете общества, которому хотят помочь... И не только клевете!»

Николай Гаврилович в тревоге. Только что из верного источника ему сообщили, что «Современник», по всей вероятности, будет закрыт, в лучшем случае на несколько месяцев. Впрочем, так же, как и ряд других журналов либерально-демократического направления. («Русское слово», издаваемый Аксаковым «День».) Высочайше утверждены уже «Временные правила» о печати, где, между прочим, в разделе II говорится: «Не допускать в печати сочинений и статей, излагающих вредные учения социализма и коммунизма, клонящих к ниспровержению существующего порядка и к водворению анархии». А в разделе III сказано: «При рассмотрении сочинений и статей о несовершенстве существующих у нас постановлений допускать в печать только специальные учёные рассуждения, написанные тоном, приличным предмету, и притом таких постановлений, недостатки коих обнаружались уже на опыте».

Достоевский уходит неразубеждённый и неуспокоенный. Николай Гаврилович, оставшись один, подводит невесёлый итог:

– А ведь из ничего получается... фантом. А может, не без чьей-то помощи... Как говорил Пушкин, «почему-то все нецензурные и противоправительственные стихи приписываются мне!» Почему? Русский фантом.

И это даже не столько итог, сколько внезапное прозрение собственной судьбы.

23

Генерал Потапов, расхаживая по кабинету, диктует секретарю:

– Во всеподданнейшем отчёте моём за минувший год я поставил себе целью обратить внимание вашего императорского величества на напряжённое политическое состояние государства и на сильное раздражение умов, всё более и более проникающее в различные слои общества. Последовавшие недавно события в самой столице подтвердили шаткость нашего общественного положения, обличая возрастающую с каждым днём смелость революционных происков, которая в особенности проявляется в обществе литераторов, учёных и учащейся молодёжи, заражённом идеями социализма.

Наблюдая за свойством настоящего политического движения в России, даже не с точки зрения полицейской предусмотрительности, но с полным желанием отдать справедливость выражаемой повсеместно любви к просвещению, нельзя, к сожалению, не заметить в двигателях на этом пути... скрытых, опасных мыслей и целей...

Двигатели эти понимают дух правительства, они видят искренность его намерений способствовать умственному развитию русского народа, соразмерному, в пределах возможности, расширению личных его прав; они слишком прозорливы, чтобы не знать, какой осторожности требует подобное действие со стороны правительства, которому не прощают ни одной ошибки и на вековой ответственности которого лежит общий правильный ход государственной жизни. Зная всё это, вместо того, чтобы служить просвещённым, благонамеренным органам высшей власти в великом деле развития умственных и материальных средств русского народа, означенные передовые, как они себя называют, люди не заботятся о поддержании необходимого для достижения сей благой цели доверия и уважения к престолу, но, напротив, стараются исказить превратными толкованиями все предназначения, проистекающие свыше, и даже в случаях явного отступления их от прямого долга они каждый раз употребляют оказываемое им снисхождение во зло, дабы сделать разрушительный шаг вперёд на пролагаемом ими пути государственного переворота в духе социально-демократического их направления.

Правительство пыталось уже действовать на нравственную сторону народных двигателей, с тем чтобы, уверив их в благонамеренности своих стремлений и в невозможности дать вдруг ещё больший простор либеральным идеям века, расположить их к системе постепенного развития...

Вошедший чиновник докладывает о приходе Аристархова.

— Александр Львович, спешу сообщить вам, что доверенные люди передали мне, будто бы из Лондона в Петербург едет коллежский секретарь Ветошников, знакомый с Герценом и Бакуниным. Можно предположить, что он повезёт с собой письма, касающиеся и до Чернышевского или кого-то из его клеветов.

Потапов:

— О, благодарю вас. Хорошо бы!.. А то ведь улик мало, улик на копейку. А мы живём в государстве законности и правопорядка.

Аристархов, указывая на отсветы пламени за окном:

— А сего разве мало?! Улик на копейку. От копеечной свечки, говорят, Москва сгорела. Вот Чернышевский и есть та самая копеечная свечка! Поджоги, науськанные им студенты собираются похитить наследника... И всего этого мало?

Потапов:

— Да, увы, слух о похищении дошёл и до государя. Государь очень обеспокоен. Но и он не может преступить закон.

Аристархов воздевает руки:

— Закон, о Боже! Всего несколько лет назад достаточно было не так чихнуть — и тебя упрягивали за решётку на долгие годы.

А теперь, видите ли, мы уже не можем переступить закона, чтобы схватить поджигателя, заговорщика, английского шпиона! Что и говорить, я сам в своих статьях кричал о необходимости судебной реформы. Но теперь я скажу: не надо нам никаких судебных реформ! России вредны законы! Пусть воля государя будет для нас единственным законом!.. А с Чернышевским... – мгновение-другое медлит, – можно ведь поступить так. Послать полковника Ракеева с обыском, авось что-нибудь да найдётся. Ракееву не впервой работать с литераторами – гроб с Пушкиным в Святые горы сопровождал, ха-ха!

Потапов:

– А ежели ничего не найдётся?.. Но, впрочем, некая струна здесь звучит. Пушкинский вариант попробовать... Государь-император очень обеспокоен...

24

К Чернышевскому слуга вводит фельдъегеря, адъютанта генерал-губернатора Петербурга князя А. А. Суворова. Князь – личный друг императора Александра II. Адъютант советует Николаю Гавриловичу от имени своего начальника уехать за границу; если не уедет, в скором времени будет арестован. Чернышевский возражает: «Да как же я уеду?хлопот сколько!.. Заграничный паспорт... Пожалуй, полиция воспрепятствует выдаче паспорта». – «Уж на этот счёт будьте спокойны: мы вам и паспорт привезём, и до самой границы вас проводим, чтобы препятствий вам никаких ни от кого не было». – «Да почему князь так заботится обо мне? Ну, арестуют меня; ему-то что до этого?» – «Если вас арестуют, то уж, значит, сошлют, в сущности, без всякой вины, за ваши статьи, хотя они и пропущены цензурой. Вот князю и желательно, чтобы на государя, его личного друга, не легло бы это пятно – сослать писателя безвинно». Чернышевский упёрся: «Не поеду за границу, будь что будет. Я ни в чём не виноват! Все же мы хоть немного да европеизировались!»

ГОЛОС РАССКАЗЧИКА:

Вот так была совершена первая проба «философского парохода». Большевики, стесняясь перед Европой расстреливать за иной образ мыслей, просто высылали из страны тех людей, которые думали иначе. Исторические действия рифмуются. Сделанное однажды не исчезает из культуры, а тлеет в ней. Царь Освободитель, столь много сделавший для России, совершил главную ошибку своей жизни – уничтожил безвинного, но равновеликого ему человека, человека, имя которого было записано в божественную книгу жизни. Провидение этого не прощает. Этот человек мог остановить разгул нигилизма, но русскому самодержцу была непонятна власть Слова. Спрятавшись от непонятного, он был взорван бомбой понятного ему нигилиста. А дальше пришли нигилисты-большевики и воспользовались идеей изгнания инакомыслов из страны.

25

По Литейному проспекту идут две дамы – Ольга Сократовна и её сестра. Обе оживлены, смеются, вообще чувствуют себя свободно, однако вовсе не развязны, хотя на них, конечно, и обращают внимание. Николай Гаврилович задержался у книжного развала.

К дамам грубо пристаёт уланский ротмистр Любецкий. Он говорит Ольге Сократовне какую-то сальность и тут же получает пощёчину от мужчины. Это Николай Гаврилович подбежал к ним от книжного развала.

– Сударь, я требую удовлетворения! – кричит ему Любецкий. – Я вызываю вас на дуэль! Как ваше имя?!

Николай Гаврилович трясёт его как грушу:

– Моё имя Николай Чернышевский! Моё имя Николай Чернышевский!

Собравшиеся простолюдины подбадривают Николая Гавриловича: «Дай ему ещё! Бей!»

Ольга Сократовна пытается остановить мужа – внезапная догадка осеняет её:

– Это провокатор, осторожней!

Воспользовавшись секундной заминкой, Любецкий скрывается.

Чернышевский получает бумагу:

«Управляющий III отделением собственной его императорского величества канцелярии, свиты его величества генерал-майор Потапов, свидетельствуя совершённое почтение его высокоблагородию Николаю Гавриловичу, имеет честь покорнейше просить пожаловать к нему, генерал-майору Потапову, в III отделение собственной его императорского величества канцелярии, завтра, 16-го числа, в два часа пополудни».

Николай Гаврилович и Ольга Сократовна мрачны, вызов не сулит ничего хорошего. Ольга Сократовна высказывает предположение, что, быть может, это для объяснений по поводу того случая с офицером.

26

Чернышевский у генерала Потапова. Ольга Сократовна была права: формальным предлогом для вызова послужило происшествие на Литейном. Потапов, подводя итог беседе, говорит, что если Николай Гаврилович желает, то улана заставят извиниться перед ним и его супругой.

– Ну, это будет очень тяжело для офицера, – говорит Николай Гаврилович. – Для его самолюбия. Не надо, Бог с ним.

– Я и сам полагаю, что уж очень это тяжело, – соглашается Потапов. – Тем более что он и не знал, что это ваша супруга... А я, – продолжает Потапов, – был чрезвычайно рад познакомиться с вами. Я всегда с превеликим удовольствием читаю ваши статьи, надеюсь, что после возобновления печатания «Современника» ещё не раз буду иметь это удовольствие.

– Простите, ваше высокопревосходительство, – говорит Чернышевский, – я хотел бы в заключение нашей беседы задать вам вопрос.

Не имеет ли правительство каких-нибудь подозрений против меня и могу ли я уехать сейчас в Саратов, так как в Петербурге ввиду закрытия «Современника» мне делать нечего?

– Заверяю вас, Николай Гаврилович, – отвечает Потапов, – что правительство против вас ничего не имеет и ни в чём вас не подозревает.

27

Квартира Чернышевского. У него несколько человек. Явно занимаются делом, кто-то приходит, кто-то уходит. Но речей их не слышно, сцена идёт под доклад филёра, он на противоположной стороне улицы изображает подгулявшего солдата или что-то в этом роде.

– С 13 июня по настоящее число у Чернышевского были из прежних лиц: Серно-Соловьевич – 6 раз, студент Николай Утин – 5 раз, Антонович – 11 раз, Боков – 10 раз, Некрасов – 8 раз, студент-кавказец Гогоберидзе – 8 раз, Иван Павлов, рассыльный – 6 раз, Иван Иванов, писарь – 5 раз; были ещё некто Кононосевиц – 3 раза, какой-то Кривошеев – один раз; были ещё какой-то адъютант и наборщик из типографии Вульфа, с которым Чернышевский и ездил куда-то.

Вчерашнего числа, когда горел Толкучий рынок, у Чернышевского было очень много лиц, в том числе Елисейев, Воронов, Утин, Антонович и два экстерна Константиновского военного училища...

Денщик офицера Рачкова, родственника жены Чернышевского, живущего у них на квартире, при всей скрытности своей, проговорился, однако, что у Чернышевского секреты со всеми входящими и что они постоянно говорят шёпотом, двери заперты, при приходе кого-либо разговор прерывается. Прислуга теряется в догадках и подозревает что-то недоброе, но, наверное, ничего не знает.

К дому Чернышевского приближаются двое – полковник Ракеев и пристав Мадьянов. Стучат в двери, входят, полковник Ракеев представляется. Мадьянова, пристава, Николай Гаврилович знает.

– Господин Чернышевский, – объявляет Ракеев, – мне необходимо поговорить с вами наедине.

– Что ж, пройдёмте в мой кабинет, – говорит Чернышевский и с порога улыбается своим друзьям. – Господа, я думаю, это ненадолго...

КОНЕЦ 1-й СЕРИИ
Здесь сценарий обрывается.